



Вера МАКСИМОВА

«СУДЬБА КО МНЕ БЛАГОВОЛИЛА...»

К ЮБИЛЕЮ ЮЛИИ БОРИСОВОЙ*

Юбилеи похожи на юбиларов. Какой светлый, необыкновенный у Юлии Константиновны Борисовой нынешний юбилейный год!

Всю жизнь она свои годовщины не любила. Чуть ли не единственный раз согласилась отпраздновать какое-то ...летие в Доме Актера, да и то потому, что ее неотступно просила об этом дорогая и близкая ей хозяйка Дома, теперь уже легендарная Маргарита Эскина.

И вот девяностолетие великой актрисы, никогда не игравшей старух... Странное, невероятное для Борисовой событие, и сегодня прелестной, хрупкой... Ее любимицы, поклонницы и защитницы в жестоком мире театра, одевальщицы, парикмахерши, гримерши, которых она называет не иначе как Анечка, Любочка, – сотворили чудо. Мастера-осветители, которых неизменно чтут вахтанговцы, сделали такое, что, отыграв «Пристань» – знаменитый спектакль-видение, воспоминание о великом театре, – Юлия Константиновна вышла на сцену, как будто бы сорокапятилетней. В кружевном платье цвета дыма и тумана, сквозь которое виднелись невероятной стройности ноги; с тончайшей талией, с кудряшками над высоким лбом... От сияющего белизной экрана, из глубины сцены она шла под руку с невысоким, элегантным Римасом Туминасом. Литовского пришельца – Худрука, давшего ее театру череду триумфов на бесконечных мировых гастролях, она сначала опасалась, а потом полюбила всей душой.

Он бережно вел ее. Звучал великолепный хорал. С обеих сторон, расходясь по диагонали к зрительному залу, стояла красивая и молодая труппа – дамы в черных вечерних туалетах справа, мужчины во фраках – слева. На середине сцены Туминас отпустил ее. Дамы склонились в низком реверансе. Мужчины и Худрук опустили на одно колено. Дальше она пошла одна. Радостная, а не печальная, не торжественная юбиларша. Странно легкая, бесстрашная, приблизилась к рампе. Встала у края сцены, улыбаясь и глядя зрителям в глаза. Сказала коротко то, что не раз уже говорила. О том, что никогда не думала о возрасте, ни в восемьдесят, ни в восемьдесят пять лет... И вот теперь, вдруг – девяносто!.. Но она ничего не хотела бы менять, не хотела бы стать моложе. Тогда бы не было ее боготворимого мужа, легендарного вахтанговского директора-распорядителя Исаия Спектора. Не было бы ее обожаемого сына Саши, любимых внучек Маши и Даши и пятерых правнуков... Счастливая, она и сегодня не одинока и бесконечно любима в своей семье. Под конец не юбилейной, не торжественной, коротенькой речи она сказала, что хорошее еще будет в ее жизни и она обязательно что-нибудь сыграет...

В этот же год случились английские гастроли вахтанговцев. Не летающая теперь на самолетах, Борисова с сыном ехала через Европу на поезде, через Париж, а потом – по тоннелю под Ламаншем в Лондон. В огромном зале знаменитого лондонского культурного центра Barbican на 1150 мест в сумрачном колодце с притушенными огнями и овалом амфитеатра Римас Туминас терпеливо ставил свет. Вечером в «Евгении Онегине» Борисова играла пушкинскую Татьяну в старости. Медленно выходила из правого дальнего угла сцены, в синем платье и плаще,

с розовым прекрасным лицом и серебряными кудрями до плеч. Шла читать сон Татьяны взрослой – Татьяне, безответно влюбленной девочке, спящей на постели; рассказывать сказку-видение, предугадание судьбы... Она шла плавно и грациозно, готовилась начать чтение... Никому еще не известная в Англии, в эпизодической, а не главной роли, к камим она привыкла за всю свою жизнь.

Я сидела близко к сцене, во втором ряду. (На следующем спектакле «Онегина» аншлаг был такой, что пришлось стоять наверху амфитеатра.) Никто вокруг меня Борисову не знал. Как вдруг за моей спиной раздался голос: «Who is it?». (Кто это?) И другой повторил: «Who is it?» И тут же позади меня по-русски, изумившись, чуть насмешливо и с гордостью ответила какая-то наша русская женщина: «Как кто?! Это же Борисова!»

Так было всегда, всю жизнь великой актрисы.

В гостиничном номере по телевизионным программам с утра до поздней ночи без устали ругали Россию и Путина за Украину. А в гардеробе и в фойе центра Barbican англичане и русские платками вытирали глаза. Наш Чрезвычайный и Полномочный Посол говорил о следующем приезде театра в Великобританию.

Когда-то я написала о Борисовой: «Другой такой судьбы не будет».

Повторяю эти слова и сегодня.

МАМИНА ДОЧКА

До того как поступить в Театральное училище имени Б.В. Шукина Юлия Борисова ни разу не была в драматическом театре. Зато постоянно бывала в Большом, Оперетте, Цирке и Консерватории, ходила в кино. Цирк и музыку любил отец, бухгалтер по профессии, с памятью о «зажиточном прошлом» и, в отличие от простой и душевной мамы, – с амбициями. Сам пел арии из опер и оперетт. Чаще всего песенку легкомысленного Томского из «Пиковой дамы» – «Если бы милые девицы все летали бы, как птицы...»

Впрочем, отец давно ушел из семьи, лишь навещал дочку. Она росла с мамой и родственниками в трехэтажном доме-особнячке на Краснопролетарской улице, который до революции принадлежал ее деду, крупному строителю-подрядчику.

В двадцатые годы дом странно «уплотнили», не выселяя прежних хозяев, оставили многочисленной отцовской родне, его братьям с женами по одной-две комнаты, таким образом, не разъединив, а соединив семью.

Юля с мамой помещались в двух небольших комнатках на первом этаже, где она оставалась долго, уже став известной актрисой Вахтанговского театра.

Привела туда мужа – Исаю Спектора, привезла из роддома сына Сашу. Наверху жили



Ю. Борисова

соседи, которые постепенно превратились в родственников.

Она помнит просторный двор, который, как и дом, сохранился до наших дней, только уже не такой зеленый и тенистый, как в ее детстве. Во двор по праздникам выносили большой

стол, ставили под деревьями, накрывали белой скатертью и «угощались» – пили чай из самовара с пирогами. Советские праздники праздновали открыто. Православные – умалчивая о причине.

Отцовская родня и мама с Юлей были глубоко верующими. С детства и по сей день она носит и никогда не снимала золотой крест на цепочке. В пионерах в школьные годы она была, а в комсомол и партию (при всех своих регалиях, общественных должностях и званиях – Народной артистки СССР, лауреата Государственных премий, кавалера Ордена Ленина и кавалера всех советских и большинства новых российских орденов; депутата Верховного Совета России, члена всемирного Совета мира, секретаря Театрального союза и т.д. и т.п.) никогда не вступала. Пугливый перед властью, Рубен Николаевич Симонов – ее учитель, ее Моцарт, живая ипостась Вахтангова для всего ее актерского поколения, первый и главный для Борисовой режиссер – шептал еле слышно: «Мы с Вами, Юлечка, единственные беспартийные здесь... Осторожней!.. Вокруг столько стукачей...»

Рядом с домом, напротив была знаменитая в Москве церковь Пимена Великого в Новых Воротниках. Туда борисовская родня ходила молиться, а Пасху, Масленицу и Рождество все вместе встречали у юлиной крестной, прекрасной кулинарки, знатока старинных рецептов русской кухни.

Девочка росла веселой, послушной и – робкой. В первый раз попав в алое великолепие Большого театра никак не решалась опустить в сетку за барьером ложи огромный желтый апельсин. Продержала его в руке весь длинный оперный спектакль.

Училась хорошо, никому не доставляя забот, но не была и не старалась стать первой. Всегда – второй. Став всероссийской знаменитостью, о немногих своих школьных подружках вспоминает, как бы заново переживая восторг перед ними.

«У меня была подруга Люба Матвеева, которая сейчас, к счастью, жива и здорова, звонит мне, бывает на каждой моей премьере... Это была уникальная девочка. Прирожденный лидер.



Ю. Борисова

Конечно, "идейная комсомолка". Староста нашего класса. Она во всех кружках участвовала, и пела, и танцевала прекрасно, при том, что не была красивой и была очень полной. До смешного. Когда она в первый раз после огромного, многолетнего перерыва зашла ко мне в гримуборную и мы заплакали, я представила ее нашему актеру, милому, талантливому и остроумному Толе Меньшикову, с которым мы только что отыграли "Без вины виноватых": "Это моя школьная подруга... Мы с ней сидели на одной парте..." Внимательно посмотрев на нас, он спросил: "Интересно, как же это? Вы – обе на парте-то умещались?.."

...Училась Люба изумительно. Никогда ни по какому предмету не имела ни одной четверки. На всех городских конкурсах побеждала, и по математике, и по химии, о которой я и сейчас без ужаса вспомнить не могу. И географию лучше всех знала, и литературу... Французскому языку нас в те годы учили кое-как, но она умудрилась и язык выучить. Я думала, что она будет кем-то необыкновенным!

Люди, годы, жизнь. Юбилейное

Но вот началась война... Моя мама со мной осталась в Москве. А ее мама – вышла замуж и уехала с новым мужем в эвакуацию. А Люба в осажденной немцами Москве должна была кормить маленького брата и старую-престарую бабушку. Какая уж тут учеба?! Поступила на работу... Встретила человека, который ее обманул...

У меня-то в школе никаких романов не было. Я все за маму цеплялась. Ко мне и подойти боялись. Мальчишки дразнили меня "барыней".

Люба так никакого института и не окончила. Билась, как рыба об лед. Сейчас, к счастью, у нее все хорошо. Прекрасный, добрый, ласковый муж, правда – совсем простой, а она – интеллектuala. И дети, и внуки у нее есть. До самой пенсии она заведовала большим Домом быта. Но я точно знаю, что она могла занять высочайшее место в обществе. В школе я была "при ней". Люба меня за руку водила. Когда меня вызывали куда-нибудь, меня всю трясло.

А в Большой театр помогала проникать другая подруга – "неистовая лемешистка", поклонница Сергея Яковлевича Лемешева.»

Старательная, аккуратная, трудолюбивая, девочка, Юля должна была все делать сама и все уметь. Так воспитывала мама, с которой за всю жизнь не было ни одного конфликта – одна любовь. И уроки с самых младших классов она делала одна, без чьей-либо помощи, и портфельчик свой до последней мелочи собирала... Мама с утра и до вечера работала, ходила лишь на классные собрания и возвращалась очень довольная дочкой.

Молчаливость, умение слушать и пропускать то, что не касалось ее напрямую, привычка делиться сокровенным и тайным с одной лишь матерью, пригодились Борисовой в театре. Выросшая в простой семье, среди добрых и скромных людей, она очень скоро обнаружила такт и деликатность, в актерской среде свойственные лишь немногим.

Черноволосая, кареглазая, гладко причесанная, в вельветовом коричневом платье с белоснежным воротничком и манжетами, которые стирала и крахмалила сама, с косами ниже колен (которые в Вахтанговском училище ей решительно «откромсают» ножницами новая

подруга, блестящая московская красавица Алла Парфаньяк) – в отрочестве и юности она считалась хорошенькой, но никто особенно ею не восхищался. Была полненькой, круглолицей и круглощечкой. Когда улыбалась – глаза превращались в щелки. Над ее деревенским румянцем и сиянием чисто вымытых щек, над круглолицестью и глазами-щелками, категорически определив начинающую Борисову в «простушки», смеялись вахтанговские актрисы-соперницы, по традиции коллектива – красавицы. Ничто тогда не предвещало ее будущей воздушности и хрупкости, одухотворенности и страсти. Не было глубокого, мягкого сияния глаз; профиля с идеально вырезанными, трепещущими ноздрями; напряженной, как у балерин, высокой шеи; гибкого, тонкого силуэта – «стана», приспособленного, чтобы выразить порыв, восторг, непреклонность.

Лишь родня считала подрастающую Юлю «раскрасавицей» и баловала общую любимицу. Бездетная тетка с мужем – директором магазина – племянницу одевали. Однажды подарили кофточку из гарусной шерсти с помпонами бирюзового цвета и две пары ботинок на полувысоком каблуке, которые называли «школьными». Но когда дядька-директор узнал, что послушная, милая племянница решила «поступить в театр», где «место одним лишь женщинам легкого поведения», в помощи было немедленно отказано. Кое-что тайком малоимущей маме для Юли передавала плачущая тетка. Примирение состоялось лишь много лет спустя.

Никогда девочка Юля Борисова не участвовала в самодеятельности, не играла ни в одном школьном спектакле. По математике успевала лучше, чем по литературе, хорошо решала арифметические задачки и, казалось, шла к тому, чтобы со временем поступить в технический вуз и стать инженером. Директор школы, он же и учитель математики, отмечал Борисову. Однажды попросил поучаствовать в школьном вечере, прочитать стихотворение. Она очень удивилась и выбрала стихотворение популярного в предвоенные годы Виктора Гусева. После выступления вышла из зала в коридор и увидела: директор стоит на лестнице и

плачет. Он сказал ей – четверокласснице, – что когда-нибудь она обязательно будет актрисой. Никто никогда ничего подобного ей в школьные годы не говорил.

О войне они с мамой услышали дома по радио. Борисова помнит, что нисколько в это утро не огорчилась и не испугалась. Твердо знала, что на границах стоит наша могучая Красная Армия и пограничники скоро немцев погонят. Мама сказала, что нужно сбегать в магазин и купить изюма «про запас».

В эвакуацию они не уехали. «И куда мы поедем? – рассуждала мама вслух. – И кто, и где нас ждет?» Ни разу не спустились они в бомбоубежище, не пошли в метро, хотя уже в середине лета начались сильные бомбежки. Мама молилась перед сном. Лежа в одной кровати, они крепко обнимались, и дочка спокойно засыпала, уверенная, что ничего плохого после маминой молитвы с ними не может случиться, Бог не допустит.

В полупустом доме оставались лишь самые старые и немощные. Было голодно. Она вдруг заметила, как побелели и поредели волосы у одной из теток – маминой сестры Лизы – и какие огромные, прозрачные, бледные стали у нее уши.

Запомнился один мучительный день. Она сидела за столом, пыталась решать задачу по алгебре и не могла решить, потому что хотелось есть и она неотступно думала о том, что привезет мама с рынка. А той все не было и не было. Когда под вечер мать вернулась, то в сумке у нее оказалась одна маленькая черная редька. Рынок был пуст. Никто ничего не покупал и не продавал.

Пробовали ездить в ближнее Подмосковье, на огороды, схваченные первым, ранним в 1941 году морозом. О картошке не приходилось и мечтать. Была надежда на капустные кочерыжки и листья.

В октябре немцы подошли совсем близко к Москве. Что-то тягостное повисло в воздухе. То ли холодный туман, то ли дым от бумаг, которые жгли в учреждениях. Страшным днем 16 октября 1941 года – общей паники и массового бегства – мама собрала, наконец, один узелок на двоих. И снова они сидели в нетопленной комнате под черной тарелкой репродуктора



Ю. Борисова

и ждали, когда им объявят по радио, куда и по какой дороге нужно уходить из Москвы.

Но запомнилось не только трудное и печальное, но и смешное. Во дворе дома стояли сараи с навесами. Когда начинала выть сирена, все бежали под навесы, в надежде, что они защитят. А мальчишки-подростки, насобирав камней, забрасывали их на крышу. Камни с грохотом катились по железу и шиферу. А люди, думая, что это осколки немецких бомб, ложились на землю, кто-куда, бывало, что и в грязь, и в лужи.

Поздней осенью немцев от Москвы отогнали. А летом сорок второго года старшекласников отправили в деревню на работы. Это было счастье. Там давали хлеб и вареную картошку, которыми Юля объедалась, невероятно растолстев за два месяца. Ляжки стали такими «здоровенными», что терлись при ходьбе друг о друга. Ее это нисколько не огорчало. Она лишь хотела, чтобы и мама, оставшаяся в Москве, стала такой же толстой.

В 1943 году, когда Борисова заканчивала школу, из эвакуации, из Омска, вернулся Вахтанговский театр. И сегодня не может она объяснить, отчего возникло желание пробоваться в Театральное училище имени Б.В. Шукина. Давние ли слова учителя-математика ожили в памяти? Или таинственный театральный ген проснулся и повелел: «Иди!»

Первой, кому она сказала о своем желании, была, конечно, мама. Мама предупредила: «Юля, будет большой скандал!» Именно так и случилось. Дядька прямо объявил, что он племянницу на порог не пустит, раз она захотела стать «проституткой». Остальные родственники, от театра далекие, оказались добрее, жалая девочку, уговаривали ее: «Юля! Что ты там будешь делать – такая милая, чистая, робкая?.. Мозги-то у тебя есть?! Ты же там рта не раскрошь! Они тебя поломают!..»

Один театральный человек в семье все же нашелся. Сыном той самой тети, которая за войну постарела и похудела до прозрачности, был Анатолий Иванович Борисов, вахтанговский актер скромного положения. (Впоследствии стал талантливым театральным педагогом и бессменным парторгом театра.) Он ездил с коллективом в Омск, в эвакуацию, так же как и его жена – актриса Таня Ефремова. Двоюродный Юлин брат, к которому она пошла советоваться, сильно удивился, потом тоже принялся отговаривать, слишком казалась она тиха и скромна для театра; потом сказал, что помогать не будет, но объяснил, что для экзамена нужно приготовить стихотворение, прозу и басню. Одна лишь мама, хоть и испугалась за семнадцатилетнюю дочку, но не протестовала и не запрещала, как другие. Сказала: «Пробуй! Чтобы потом ни о чем не жалеть в жизни! Но пробуй – сама!» «Мудрая», – с благодарностью и печалью говорит о давно умершей матери Борисова.

Будущая главная драматическая героиня Вахтанговской сцены выбрала «Сорочинскую ярмарку», то самое место, где бушевала смешная Хивря.

«Отчего я Хиврю выбрала? Наверное, насмотрелась на себя в зеркало. Толстенная – не то слово! Толстая. Вот такая морда! Две красных помидорины вместо щек.

Щеки наступают на глаза... Толстое у меня было все, и попа, и талия... Ляжки – даже неприличные».

Анатолий Иванович Борисов обещание сдержал и несколько ей не помог. С абитуриенткой Борисовой тайно занималась его жена.

На консультации, кроме Хиври, она читала сон пушкинской Татьяны, басню, название, которой теперь не помнит, и неожиданно понравилась знаменитой ученице Вахтангова Русиновой. Двоюродный брат Толя удивился, когда Нина Павловна ему об этом сказала.

Круглым скуластым лицом, чуть раскосыми глазами, черными как смоль волосами похожая на монголку, большая, властная, она Борисову дальше и «повела». Перед третьим туром, Толя, перестав удивляться, по секрету сообщил, что к ее кандидатуре в училище относятся серьезно.

И тут едва не случилась беда. Присмотревшись за месяц экзаменов к девушкам, экзаменовавшимся вместе с ней, Борисова

Ю. Борисова





Н. Русинова

обнаружила, что все они красивы, а главное, очень хорошо одеты. Уверенные, жизнерадостные, – стояли в коридоре стайкой, успев подружиться и уже зная всех в лицо. Не только знаменитых вахтанговских актеров, которые в школе преподавали, но и ректора Бориса Евгеньевича Захаву, и начинающего педагога, недавно вернувшегося с фронта после тяжело ранения Владимира Этуша, но еще и старшекурсников, «болевших» за новичков и по секрету сообщавших, у кого какой шанс есть.

Девушки ее будущего курса и вправду были красивы – смуглая, с ослепительными зубами и глазами, с прелестным вздернутым носиком Алла Прафаньяк, уже год проучившаяся на театроведческом факультете ГИТИСа и потому – самая образованная из всех, которая вскоре снимется в кино – в знаменитой комедии о летчиках и любви «Небесный тихоход», выйдет замуж за киногероя 1930–1940-х годов, знаменитого Николая Крючкова; хорошенькая и живая Мила Геника, которая начнет работать в Вахтанговском театре, а продолжит

в Театре имени Гоголя вместе с мужем – знаменитым Борисом Чирковым (большевиком Максимом из легендарной революционной кинотрилогии). Здесь была беленькая, с розовым румянцем, в милых конопушках-веснушках Людмила Фетисова, которую за женственную стать, за великолепную фигуру чуть ли не со школьной скамьи пригласили в манекенщицы Центрального Дома моделей на Кузнецком Мосту. *«Люся была бедная из бедных, – говорит Борисова. – Пережила ленинградскую блокаду. Но кое-что из модных коллекционных одежек время от времени перепало и ей».* Позднее появится пастельная, нежная, с огромными прозрачными глазами Нелли Мышкова.

Все они были намного свободней, смелей Борисовой. Смеялись и щелбатели в коридоре, кажется, нисколько не сомневаясь в будущей удаче. Она стояла отдельно и одна. Боялась. Не разговаривала ни с кем. Не потому, что не хотела, а потому, что так уж получалась. И насмотревшись на них, наужасавшись собственной некрасивости, убогости, стесняясь серенького будничного платья (*«Дядька-то перестал помогать»*), она решила свою внешность улучшить. Особенно не нравилась ей собственная прическа – гладко причесанная голова и две тугие, толстые, негнувшиеся косы за спиной. Она отправилась в туалет, где на умывальнике стояла коробка с дешевой, белой, как мука, пудрой и валялись шпильки. Шпилек оказалось немного. Но с их помощью она кое-как закрутила косы вокруг головы, венцом, в два ряда, а пылающие щеки, нос и лоб густо присыпала пудрой. И так пошла читать.

До этого Русинова в компании одного-двух педагогов и студентов-старшекурсников слушала ее в небольших комнатах-аудиториях. Теперь нужно было читать на сцене училища. Туда из-за кулис вели две ступеньки. Как в бреду, она шагнула в пустоту, в воздух. Знала, что комиссия с ректором сидит в первом ряду кресел. Но зажженная рампа не давала ей рассмотреть лица экзаменаторов. Вежливый голос ректора Захавы, спросившего, что она будет читать, послышался откуда-то сбоку. Повернувшись, она ответила в пустоту. Кажется, туда, в стенку, она и читала. Хиврю выслушали



до конца и смеялись, а сон Татьяны прервали посередине. Старшекурсники-болельщики объясняли, что это бывает иногда плохим, а иногда хорошим знаком.

За кулисы она пошла, ничего не видя, не помня. Только подумала с тоской, что еще нужно до дома добираться, а сил нет. Вернулась в туалет, чтобы расколоть косы и смыть пудру. Мгновение спустя следом за ней ворвалась разъяренная Русинова. Подтащила свою подопечную к зеркалу, лицом вплотную к стеклу, и закричала-зашипела: «Ты что с собой сделала?! Я тебя спрашиваю – что ты сделала?! Ну, кто тебя теперь такую возьмет?!» С ужасом увидела Борисова свое отражение – огромную голову со съехавшими на бок косами, белое, круглое как блин, словно и не живое лицо с багровыми пятнами на щеках. И над этим толстым, осыпанным пудрой лицом дыбом стояли и с двух сторон свисали черные хвосты-пряди.

Однако в Вахтанговское училище Юлию Борисову приняли.

«ЕРМОЛОВЫХ И КОМИССАРЖЕВСКИХ СРЕДИ ВАС НЕТ...»

С Ниной Павловной Русиновой, которая Борисову на экзаменах заметила и отстояла, как с педагогом училища она не встретилась больше никогда. Первое время на занятия ходила с тоской и мукой, потому что была застенчива до крайности. На уроках по мастерству первокурсники рассаживались полукругом. Педагоги Вера Константиновна Львова и Леонид Моисеевич Шихматов помещались на стульях в центре. А она каждый раз отодвигалась подальше, пряталась за чью-нибудь спину, чтобы ее не заметили, не вызвали «на ковер». Львову она боялась. Плакала, когда Вера Константиновна кричала так, что было слышно на всех этажах училища: «Вон с занятий! К станку!.. На завод! В уборщицы...»

Сокурсники уговаривали Борисову: «Да брось ты, она же добрый человек... Домой позовет, накормит-напоит, а то и денег даст... А если орет, – то на голой технике...» Позже – на старших курсах и в первые театральные годы – Борисова поняла, что Львова и Шихматов дали

ей азбуку профессии, глубинные, душевные основы мастерства.

Они были очень разные, эти супруги-первовахтанговцы. Выдающийся педагог и несостоявшаяся актриса Вера Константиновна, вся – бурление, бушевание, быстрая, резкая... Леонид Моисеевич – медлительный, вальяжный. Шествовал каждое утро по Арбату, несколько не обеспокоенный тем, что опаздывает. Когда студенты на уроке особенно озорничали, он предупреждал: «Если вы сейчас не перестанете безобразничать, я брошу в вас пепельницу...» Летом в цветущем вахтанговском Доме отдыха любил остановить студента или студентку и побеседовать на вольном воздухе. Спрашивал: «Что молодой человек или девушка знают о звездáх?» Делал ударение на последнем слоге, так, как произносили любимое свое слово русские символисты «серебряного века». Велел ученику, особенно – ученице, торопившейся на свидание, на танцы под патефон или попеть романсы под гитару, – запрокинуть голову к небесам и поразмышлять о «звездáх». (*«Юличка, а что вы знаете о Сириусе?»*) Душу юная Борисова никому не открывала. Ни Алле Парфаньяк, ни Миле Генике, ни Люсе Фетисовой, с которой сблизилась больше, чем с другими, – ярко одаренной, веселой, верной, с чуть сипловатым, как у озорного мальчишки, голосом. Исповедовалась одной только маме, дома по вечерам.

На младших курсах студентка Юля ужасно мучилась с «этюдами». Зато сразу полюбила «сценическое движение» и здесь была совершенно свободна. Крутила колеса. *«Кульбит и сегодня могу сделать»*. На уроки танца к солисту балета Большого театра Цаплину летела как на крыльях. Упражнения у станка могла повторять без конца и никогда не уставала.

Любила занятия по ритму и по сценической речи, канонам которой учила роскошная рыжая, синеглазая Круминг. Большая, статная, с лицом снежной белизны и нежной розовости, она так по-королевски себя «несла», что не любоваться ею было невозможно.

«Мне заниматься речью нравилось, потому что у меня все и сразу получалось». Еле заметное «цоканье» исчезло после первых же

уроков. А знаменитые скороговорки-упражнения Борисова произносила с невероятной легкостью и скоростью. В те годы и навсегда научилась она говорить звонко и музыкально. Хохотушка – без смеха не могла слышать, как мучился и напрягался ее сокурсник Толя Кацынский, будущий товарищ по Вахтанговскому театру (талантливый «несчастливец», хоть впоследствии и Народный артист), пытаясь одолеть: «Чижик в чаше чушь чирикает».

Круминг учила: «Если вы не можете рассмеяться, когда это нужно в спектакле, я дам вам специальное упражнение. Вы произносите сначала на выдохе: «Ха!..» Затем, опустив диафрагму: «Ха-Ха!!» И наконец, раскатисто, в полную силу: «А-ха-ха-ха!!!»

«Я как услышу этот низкий, важный голос, – ну, хохотать! А Круминг невозмутимо предлагала: "Бо-ри-со-ва, выйдите в коридор и охолодитесь". И мне было не обидно, а радостно».

Ритмику преподавала длинная, сухопарая женщина в пенсне, отсчитывала «и раз, и два...», а на «три-четыре» вдруг взвизгивала и подпрыгивала. Борисова всегда успевала прыгнуть вместе с ней.

Лидеров на курсе не было. Львова этого не допускала. Всех без исключения держала в строгости. Любила повторять: «Ермоловых и Комиссаржевских среди вас нет!..» Но педагоги по мастерству актера чуть выделяли талантливую Фетисову и надеялись на очаровательную умницу Аллу Парфаньяк.

Рядом с главными красавицами курса Борисова чувствовала себя нескладной и некрасивой. Молча мучилась. Для улучшения внешности решила отрезать свои длинные толстые косы, но никак не могла решиться. Косы ей отромсала решительная Парфаньяк. *«На меня кричали на курсе. Но кто-то вдруг сказал: в театре из-за париков все равно пришлось бы резать. Я не жалела о косах ни минуты».*

Уже миновали времена, когда училище помещалось в здании театра, в глубине его, а студенческие спектакли и отрывки играли на маленькой сцене уютного красного, камерного зала. Тогда оно называлось «школой», и ничто не отделяло ее от театра. По окончании утренних репетиций вахтанговским знаменитостям

нужно было сделать лишь несколько шагов, чтобы появиться на занятиях или просмотрах. Приходили все. И те, кто преподавали, были «профессорами» и «доцентами», соответственно своим почетным званиям «народных» и «заслуженных». И те, кто просто-напросто интересовался подрастающей молодежью, своей сменой. В предвоенные 1930-е в школе работали и великий Борис Щукин, и первовахтанговец Захава, и «человек-праздник» Рубен Симонов, и незабвенная (для Борисовой), несравненная Елизавета Алексеева, и легендарные со времен «Принцессы Турандот» Мансурова и Орочко... Премьеры и премьерши театра занимались педагогикой с увлечением и всерьез, тем более что профессорские зарплаты были куда выше скромных актерских.

При огромном конкурсе (вахтанговская школа гремела на всю Москву) принимали лишь немногих избранных. Готовили специально для своего театра, учитывая его нужду в той или другой индивидуальности. Казалось, что педагогов в школе лишь чуть меньше, чем учеников. Все знали всех. Кажется, и строгого расписания не существовало. Мастер приходил, освободившись от работы в театре, вызывал юного подопечного и персонально занимался с несколькими, а то и с одним единственным, особенно любимым.

В студенческие годы Борисовой Училище имени Б.В. Щукина (с середины 1940-х годов – вуз) уже переехало в пятиэтажный, с конструктивистскими квадратными окнами дом. Оно разрослось и теперь готовило кадры не для одного только Вахтанговского театра, как прежде. Разместившись на этажах, постоянно смешиваясь, соединяясь, знакомясь, участвуя в студийных вечерах, концертах, капустниках, в здании располагались еще и Оперная студия Московской консерватории, и Художественный институт имени В.И. Сурикова. Жили тесно, шумно, многолюдно, но, как ни странно, традиции «домашности», «семейности», близкого общения с «прославленными и гениальными» сохранялись.

Соблазнов, разнообразных отвлечений, возможностей заработать у актеров тогда было много меньше, чем сегодня. Оставалось время

Люди, годы, жизнь. Юбилейное



Ц. Мансурова и
Ю. Борисова

пообщаться с молодежью. Они приходили не только на занятия, но и после их окончания (по вахтангоновской традиции первоначальных лет) – поговорить, познакомиться почитать студентам прозу или стихи. Кто-то «обкатывал» на молодой восторженной публике будущую концертную программу. Юлия Борисова запомнила свой восторг, когда Народный артист Кольцов прочитал им, почти детям, «Шампанское» Чехова.

Никаких банкетов «в складчину», с горячительными напитками не существовало, кажется, даже и чай со сладостями «не гоняли». Однако некоторые корифеи – Львова с Шихматовым, Александра Исааковна Ремизова, прямая ученица Вахтангова, ныне почти забытая талантливейшая женщина-режиссер, сделавшая для Вахтанговского театра едва ли не столько же, как и сам Рубен Симонов, – приглашали к себе домой, на обед или ужин, «поболтать». Цецилия Львовна Мансурова – Цилюша, как любовно называли ее в училище, – звала к себе молодежь особенно часто. Одинокая, она уже потеряла любимого мужа, не артиста, а музыканта-оркестранта Николая Петровича Шереметева, правнука легендарного графа-мецената, основателя музейных Останкино и

Кусково. Его, не пожелавшего уехать в эмиграцию вместе со своей аристократической семьей, не раз арестовывала Лубянка, а выручали – влиятельная даже в годы сталинского террора, имевшая повсеместные связи административная театра и знаменитая жена – легендарная первая Турандот. (Отправлялась в чекистскому начальству, «надев шляпку с синей вуалеткой!» – свидетельствует бывший вахтанговец Иван Елагин, потом эмигрант, автор книг «Темный гений» о Всеволоде Мейерхольде и «Укращение искусств».)

Впоследствии Борисову часто сравнивали с Мансуровой, находили сходство в их хрупкости, подвижности, в бурлящем (яростном) сценическом темпераменте, в особенной грации. Не убоившись сравнения с легендой, через сорок лет после премьеры 1922 года Борисова, наследуя Мансуровой, первой из вахтанговских актрис сыграет принцессу Турандот.

Однако, при всем уважении к Цецилии Львовне, она никогда любимицей Вахтангова не увлекалась, у нее не училась – ни буквально, ни фигурально. Кумиром на всю жизнь оставалась для нее Алексеева, столь же великая, как Щукин, как родной брат Елизаветы Григорьевны – великий мхатовец второго



поколения Борис Добронравов. Тонкая, хрупкая, невесомая Борисова преобразается, показывая своего «идола» – медлительную, вальяжную, мощную Алексееву, которая всегда появлялась задолго до начала репетиций, но так незаметно, что ее начинали искать, звать, а она – большая, грузная – откликнулась из глубин закулисья своим неповторимым, низким, «альтовым» голосом: «Да здесь я!.. Вот она я!..» И всплывала – с огромным ридикулем, в сборчатой юбке, на ходу засучивая широкие рукава. (В «Двух сестрах», «На золотом дне», в «Коронации» Борисова сыграет «дочек» и «внучек» Алексеевой, а вслед за ней – другую легендарную роль вахтанговской сцены – Виринею.)

Она не помнит, чтобы педагоги – артисты театра, в котором особое внимание придавалось выраженной, реализованной, сочиненной, «нафантазированной» форме, в том числе метафорической, гротескной, – на занятиях увлекались формальными изысками. Ее любимая Алексеева говорила, что главное для начинающего актера – «вспахивать душу». Не уставала повторять ученикам: «На сцене никогда не подноси платок к сухим глазам».

Из педагогов к Борисовой особенно благоволил Владимир Иванович Москвин, сын того самого мхатовского Ивана Михайловича Москвина. Невысокого роста, рыжеволосый, коренастый, со скуластым лицом и звучным голосом, очень обаятельный, внешне он чуть напоминал гениального отца. Было два брата Москвиных, два актера. Федор погиб на войне. Владимир Иванович уже не играл на сцене. Преподавал и считался одним из лучших педагогов Щукинского училища. Старшие вахтанговцы говорили, что он мог бы стать очень большим артистом, если бы не известная русская «слабость», роковая для многих людей театра. Владимир Иванович периодами сильно пил и не приходил на занятия – «заболевал», как объявляли в такие дни.

Однажды, чтобы не пропустить урока, Борисова и двое юношей, ее партнеров, отправились в Брюсовский переулок, на квартиру к Москвину, в известный всей Москве серый конструктивистский дом на повороте и склоне

к церкви, где жили семьи великих мхатовцев – Качалова, Леонидова... В огромной квартире с репетиционным залом обитала прославленная балерина Большого театра Екатерина Васильевна Гельцер – тетка Владимира Ивановича, родная сестра его матери.

Дорогу студенты знали хорошо, потому что ходить к Мастеру приходилось часто. В последнее время он все больше «болел». Его жена открыла дверь и встала на пороге, не желая пускать незваных гостей в дом: «Владимир Иванович нездоров...» Мальчишки и Юля не огорчились: «Пьяный педагог – такая радость! Сейчас в кино пойдём или погуляем по Арбату». И вдруг из глубины квартиры слабо позвал знакомый голос. Супруга отступила, они вошли в просторный, уставленный старинной мебелью кабинет и увидели, что Москвин сидит, глубоко утонув в кресле.

Перемигиваясь, молодые озорники с чрезмерным участием стали спрашивать о здоровье. Он понял, что они устраивают «цирк», и произнес чуть ли не с презрением: «Да, хватит вам!.. Явились искусством заниматься, так проходите...»

Борисова должна была играть Парашу в отрывке из «Горячего сердца» Островского.

Москвин приказал ей: «Ложись на диван...»

Попросил: «Зажгите лампочку...»

Один из студентов кинулся зажигать старинную лампу под темным шелковым абажуром.

– «Говори...»

В тишине и полумраке, лежа на диване, она произнесла первую фразу: «Вон звездочка зажглась...» Возникло особенное состояние, новое ощущение себя. Словно синий теплый летний вечер наступил, и звезды одна за другой появились на небе... Тело освободилось и обрело легкость. Рука свободно легла за голову. Всмотриваясь в поднебесную высоту, влюбленная Параша считала огоньки, простодушно и восторженно вела разговор с небесами...

Никогда прежде не было у Борисовой такой репетиции, такого вечера, запомнившегося на всю жизнь. А потом Москвин читал Есенина. И уже совсем поздно, взбодрившись и восстав из кресла, повел учеников наверх знакомиться с великой теткой Гельцер и пить у нее чай.



С Москвиным у Борисовой был еще один памятный случай – пример жестокости или странности театральной педагогики, режиссерского воздействия на актера.

Она снова пришла репетировать домой к Владимиру Ивановичу, а тот был занят работой с другим студентом. Попросил только: «Посиди». Ученик мучился, потел, отрывок не получался, Москвин требовал повторений. И вдруг тихо, полуобернувшись к Юле, так чтобы ученик не услышал, сказал: «Он сейчас сыграет, так, как мне надо, но только один единственный раз в жизни сыграет».

«И вдруг Владимир Иванович разворачивается, бьет студента по лицу и тут же требует: "Монолог!" Парень был не глупый, сообразил, что обижаться не надо, а надо монолог читать... Он прекрасно его прочитал. А Москвин дождался конца, снова обернулся ко мне и беззвучно одними губами прошептал: "И больше – никогда!" Милый мой сокурсник, симпатичный, умный, но для сцены мало пригодный человек, актером так и не стал».

Постепенно она перестала бояться учителей, полюбила играть перед ними, показывать им готовую работу, но ей было трудно, некомфортно, когда в зале сидели сокурсники. Из-за этого чуть не провалила чеховскую миниатюру «Верочка», режиссером-ассистентом на которой был начинающий педагог Владимир Этуш. (И впоследствии, уже в театре на показах Худсовету, на глазах у партнеров-актеров играла хуже, чем на репетициях с режиссером или на премьерях перед зрителями. То ли совсем не верила объективности и доброжелательности коллег, то ли потому, что ей, никогда не работающей начерно и вполсилы, легко возбудимой *«дополнительное волнение было не нужно».*)

Свой первый успех она узнала не в драматической роли, а в Испанском танце, который характерный танцовщик Большого театра Виктор Цаплин поставил специально для нее. В пестрых юбках и развевающихся черных кудрях она плясала со страстью и азартом, безукоризненно четко. В простенькой, хорошенькой, очень русской Борисовой неожиданно возникло «иноземное чудо»: диковатость, заносчивость, горделивость испанки, прямизна стана,

опасная, без славянской мягкости женственность, вызов и скрытая угроза мужчине-партнеру, внезапность пауз-замираний на лету.

Ректор училища, Борис Евгеньевич Захава, – из первых и верных учеников Вахтангова, главный теоретик и знаток «направления», – покинул свой маленький кабинет на третьем этаже (большой и роскошный появится позже, в «эпоху» ректора Владимира Этуша), чтобы присутствовать на экзамене. При всей своей коренастости и грузности, по-вахтанговски элегантно Захава держался отстраненно ото всех, был корректен, молчалив, «закрит» и от учеников, и от педагогов. «Оттаивал» лишь на самых удачных студенческих показах. Тогда смеялся – лущился всеми своими морщинками, «как солнышко». Он был строг и однажды так отругал Люсю Фетисову, что она в слезах спустилась в вестибюль училища, к Борисовой, напуганной долгим отсутствием подруги. (Ленинградская блокадница Фетисова умрет тридцати шести лет от роду, первой из их курса. Одна из самых «неимущих», «бедных», она подрабатывала манекенщицей в Доме моды на Кузнецком Мосту и иногда появлялась на занятиях с густым накрапом на ресницах, не сняв яркого макияжа.) Хвалить учеников прилюдно в училище считалось непедagogичным. Ни Захава, ни другие педагоги никогда этого не делали. Борисову ректор не выделял из всех других. Однако, посмотрев ее номер, задумчиво произнес: «Эта девочка будет актрисой...»

Некоторое время спустя, на лекции о Льве Толстом, он сказал, что Наташу Ростову из «Войны и мира» сыграть нельзя – настолько воплотилась, «оформилась» она в сознании и воображении многих поколений русских людей, став для каждого – единственной и «своей».

И снова едва ли не самая робкая на курсе Борисова удивила, заявив как самостоятельную работу роль Наташи в эпизоде ночного разговора с матерью – «старой графиней» Ростовой. Ни в юности, ни в поздние годы она не любила споров и острых конфликтов, ускользала от борьбы. О Борисовой, сочетавшей стихийный «грозовой» темперамент на сцене и такт, выдержанность, терпимость в жизни, неожиданные для девочки из

простой семьи, – ее друг и коллега Анатолий Кацынский сказал: «Борисова, когда ей нравится, – молчит, и когда не нравится, – тоже молчит».

Она и сегодня не может объяснить, отчего решила противоречить ректору? Уж точно – не из желания «доказать»! Наверное, из-за жгучего любопытства попробовать – действительно ли любимейшая и прекраснейшая из героинь русской классики недоступна «грубому» искусству театра?

Вахтанговцы нынешнего старшего поколения, видевшие ее Наташу, запомнили обаятельную ребячливость, жизнерадостную подвижность начинающей актрисы. «Вино прелести» Борисовой кружило головы. На широкой кровати посреди маленькой учебной сцены она укладывалась и перекладывалась поуютней, ласкалась к матери, преворачивалась, перекачивалась, озоруя и резвясь. Вся жизнь боготворившая свою маму, юная Юля играла близкое и понятное себе: безграничную дочернюю привязанность к матери, доверие к ней, дружбу–любовь – то самое, что составляло поэтическую основу отношений в дворянских семьях старой России. Разговор о «взрослых мужчинах» своего круга, которые все до одного влюблены в подрастающую Наташу, Борисова вела с комической серьезностью и обижалась, сердилась, даже кричала на мать, которая лишь смеялась в ответ, не понимая, почему это граф Безухов, по описаниям дочери, – «весь красно-синий», а петербургский карьерист, прагматик XIX века, обнищавший князь Борис Друбецкой, который тоже не устоял перед маленькой чаровницей, – «серый», «светлый» и «узкий», как столовые часы в доме Ростовых.

Талантливая «травестийность», то есть умение играть детей, воплощать подлинность возраста, «невзрослой» психологии, подростковой пластики, подкупала в роли. Она будет особенно ценима и востребована в первые профессиональные годы Борисовой. (Ее в театре долгое время – ошибочно – считали «инженю комик», то есть актрисой на молодые комедийные роли.)



Ю. Борисова –
Настасья Филипповна.
«Идиот». 1958



Ю. Борисова –
Клеопатра.
«Антоний и Клеопатра».
1971



Однако, судя по рассказам очевидцев, было в ее Наташе и глубинное, серьезное. Поэтическое и радостное восприятие жизни, еще не тронутой страданием. Восторг любви не только к матери, но и к целому миру, ко всем людям вокруг, влюбленность в них и в саму себя, что случается с талантливыми натурами в их юные годы. Была рано проснувшаяся в девочке женственность, обещание (в недалеком будущем) пленительной женщины, волшебницы и покорительницы сердец. (Той, о которой Пьер Безухов скажет: «Умна ли она? Нет... Не думаю... Она не устает быть умной. Она обворожительна».) Было предчувствие большой любви.

Наташа Ростова Борисовой стала маленькой сенсацией замкнутого школьного, «курсового» мира. Но когда уже профессиональной актрисой, невероятно долго сохранявшая молодость, девическое, даже детское в облике, Юлия Константиновна Борисова сыграла в «Янтарном ожерелье» Н. Погодина (одном из первых и удавшихся советских телесериалов) девочку-подростка послевоенного времени, иной эпохи, социальной среды и судьбы, едва не сломанной негодяем, в Москве заговорили о том, что необходимо немедленно делать экранизацию «Войны и мира», потому что нашлась, наконец, исполнительница на главную роль. Так совпала героиня Борисовой с описанием героини Толстого, особенно в первую ее мимолетную встречу с князем Андреем на лужайке в родовом поместье Ростовых Отрадном... («Тоненькая, странно тоненькая», как написано в романе, когда смеющаяся и радостно беззаботная девочка с яркими карими глазами, с густыми кудрявыми косами и завитками надо лбом выбежала на въездную аллею и, рассмеявшись оттого, что обозналась, увидев в коляске незнакомого, унеслась прочь, в свою таинственную, беззаботную, счастливую жизнь).

Она была невероятно похожа на героиню Толстого. Так будет и впоследствии на сцене и на экране.

Ее лицо с тонкими правильными чертами, с очаровательным профилем, яркими глазами (особенными – с их мягким, «задушевым» свечением, запредельными в страдании, как станут писать о Борисовой впоследствии), с улыбкой

невыразимой прелести обладало редкой особенностью преображения. От грима, который актриса любила, ценила как важнейший, необходимый стимул рождения образа, – она не отказывалась никогда. Так оно было сотворено, уготовано природой, это лицо Борисовой, чтобы меняться и достигать почти пугающего портретного сходства с героинями классики – будь то Наташа Ростова, Настасья Филипповна в «Идиоте» Достоевского, шекспировская царица Клеопатра... И Натали Пушкина, сыгранная ею в забытом ныне спектакле вахтанговцев «Шаги Командора» по мало удавшейся пьесе Коростылева, выглядела живым повтором известных портретов жены поэта, акварелиста Александра Брюллова или знаменитого в XIX веке Владимира Гау.

На третьем, предвыпускном курсе событием уже не для курса, а для всего училища стала сыгранная Борисовой тетка-страховщица военных лет, роль которой, как и весь сюжет, она придумала от начала и до конца. Сама нашла короткое старое пальто, серый, давно потерявший цвет платок, драный портфель. На одну руку надела перчатку с обрезанными пальцами, чтобы легче было подписывать бумаги, на другую – варежку. Странное, замученное, застывшее на уличном ветру существо «без возраста» входило в благополучный, обойденный войной дом. Голосом простуженным или сорванным, без интонаций, заученными фразами страховщица начинала уговаривать хозяев «застраховаться» и вдруг замолкала на полуслове, увидев посреди комнаты большой, «богатый» аквариум с золотыми рыбками. Не в силах оторваться от них, которые бесшумно и плавно перемещались среди зеленых водорослей, она впадала в немоту. Удивленные хозяева спрашивали пришелицу о деле, она отвечала невпопад, а потом и вовсе замолкала. Как во сне, передвигалась вслед за рыбами вокруг аквариума. Сначала казалось, что подводная красота поразила девочку, явившуюся из стужи и неприютности военного времени, но постепенно зритель понимал, что страховщица голодна, что, кружа и замирая возле аквариума, приникнув бескровным, худым личиком, тоненьким носом к стеклу, она смертельно хочет

Pro настоящее



Ю. Борисова –
Наталья Николаевна,
Ю. Яковлев –
Николай I.
«Шаги Командора».
1957



Ю. Борисова – Джулия.
«Два веронца». 1952

Ю. Борисова – Люся.
«Две сестры». 1957

лишь одного – запустить в воду руку, схватить и вытащить золотую рыбку, зажарить ее и немедленно съесть.

Было ясно, как живет, бедствует, голодает эта девчонка, похожая на старуху. Вместе с ней в теплый дом, к людам, не знавшим беды, без выстрелов и смертей входила война. Борисова, не уезжавшая из осажденной Москвы, молившаяся вместе с матерью, чтобы немецкая бомба не убила их, запомнившая и черную сморщенную репку, привезенную мамой с базара, опустевшего перед немецким вторжением в столицу, и то, как от голода не могла прочитать задачку в учебнике, в коротенький сюжет, в «упражнение на образ» вложила всю свою память и все свое знание о войне.

После показа о ней заговорили в училище. Сама грозная Вера Константиновна Львова позвонила и, расщедрившись, поздравила ученицу с успехом.

И тут скромную студентку Юлю приметил, «углядел» однокурсник Евгений Симонов, сын «хозяина», диктатора, вождя Вахтанговского театра Рубена Николаевича Симонова...

«СЫН ТАКИХ РОДИТЕЛЕЙ...»

Много позже знаменитая Борисова будет получать письма и открытки от своих бывших соучеников с признаниями в любви: «Мы Вас так любили, Юлия Константиновна...» Или: «Я Вас так любил, Юля, но Евгений Рубенович взял Вас крепко за руку и повел за собой...»

До этого у студентки Юли не было ни одного романа. Она дружила, радовалась, веселилась вместе со всеми, никого не выделяя. Внимания Симонова-младшего, наверное, и не заметила бы, думая, что ему куда интереснее блестящие, уверенные в себе Парфаньяк, Геника, красавица и дочка генерала Ева Мышкова... Она считала, что «его отношения с ними были серьезные. Они ему больше подходили...» И Женя Симонов этого не отрицал. («Хотя мог и прихвастнуть», – иронически замечает Борисова, отлично знавшая друга всей своей жизни.) Надоумили подруги: «Юля, а ведь Женька-то за тобой ухлестывает!..»

Будущий Народный артист СССР, лауреат, профессор, общественный деятель, член многочисленных комитетов, президиумов и

комиссий, известный в 1950–1970-е годы режиссер-постановщик, который, наследуя отцу, восемнадцать лет будет возглавлять вахтанговский театр, в студенческие годы казался ей очень некрасивым.

Худой, с копной черных волос, длинный, горбоносый, в детстве он болел полиомиелитом, в те времена не излечимым, из которого его героически «вытащила» мать – актриса, жена Рубена Николаевича Елена Михайловна Берсенева. Болезнь иногда возвращалась, и Женя приходил в училище на костылях. Когда Борисова оставит его и выйдет замуж за Исяя Спектора, вахтанговские сплетницы скажут, что «это – из-за Жениной болезни», что «Юля убежала от Жениных костылей».

«С возрастом он стал красивой, значительной, как и Рубен Николаевич. Появилась уверенность в себе, возникло благородство в облике». На трибунах и на сцене выглядел эффектно. Умел и любил выступать – публичный, светский человек, великолепный оратор. Отличного роста, с развернутой грудью, в крахмальной рубашке с неизменной (как у отца) элегантной бабочкой, с ослепительной улыбкой – сплошь из крупных, тесно посаженных зубов, с литой серебряной шевелюрой и смуглым лицом южанина. Он уверял, что начал сесть с пятнадцати лет, на что Юлия Константиновна снова скептически заметит: *«Женька и присочинить мог...»*

В училище он был прост, дружелюбен со всеми. Нисколько не кичился своей знаменитой фамилией. Никогда не пользовался возможностями Симонова-старшего, хотя было известно, что тот любит своего единственного сына беспредельно. Демократизм, открытость, доброта, неспособность помнить зло сохранились у Евгения Рубеновича на всю жизнь. И впоследствии – при многочисленных званиях, наградах, победах – гордыни в нем не было.

В общении он допускал обаятельную фамильярность. В Малом театре, куда в 1960-е годы, по «неозвученному», но не скрываемому желанию знаменитого родителя, к изумлению театральной Москвы, на несколько лет Министерство культуры СССР отправило его, коренного вахтанговца, – главным режиссером, набираться «опыта руководящей работы»,

сверстники-артисты за глаза, а некоторые – самые знаменитые, и в глаза называли «Женькой».

Старшим вахтанговцам было известно, что Симонов-отец растил в сыне преемника. Никто (до поры) против этого не возражал, желания Рубена Николаевича принимались, как закон. Один талантливый и впоследствии популярный актер сосстрил по поводу младшего Симонова – «был тапер, стал режиссер», – и вскорости оказался вне стен театра. Корифеи часто повторяли мало понятную молодым фразу: «Рубен поставил колыбель сына посреди сцены...» Это означало, что в военные годы, в эвакуации в Омске, подросток Женя круглосуточно пребывал в театре («отвлекаясь» лишь на школьные занятия, совершенно не интересные ему). Изо дня в день он видел репетиции своего выдающегося режиссера-отца, но еще и замечательного актера и режиссера Художественного театра и Первой мхатовской студии Алексея Дикого, и мейерхольдовца, монументалиста и романтика

Е. Симонов



Pro настоящее



Е. Симонов и
Р. Симонов. 1967

Николая Охлопкова, которых война собрала под вахтанговской крышей, а также знакомых с детства, Александры (Сашуры) Ремизовой и Бориса Захавы. В Омске Симонов-сын проходил свои «режиссерские университеты» и при великолепной своей памяти на всю жизнь запомнил мизансцены, приемы, подходы, методы выдающихся постановщиков.

Московскому коллективу-беженцу местный очень хороший, с талантливой труппой Омский театр драмы на четыре дня в неделю великодушно уступал свою сцену. Здесь, в сибирском городе с «резко континентальным» климатом, сорокаградусными морозами и нестерпимой летней жарой, на чужих подмостках, несмотря на лишения и испытания («Есть хотелось постоянно», – вспоминала старейшина театра, актриса Г.Л. Коновалова), вахтанговцы прожили блистательные и полные художественных побед два года («Фронт», «Сирано де Бержерак», «Мадемуазель Нитуш», «Олеко Дундич»), едва ли не самое счастливое, чистое, самоотверженное время в его долгой и сложной судьбе, полное дружеского согласия и самоотвержения.

Ничего этого Юлия Борисова тогда не знала. Не знала, было ли у Симонова-младшего актерское дарование и как его принимали на актерский курс. (Режиссерского факультета тогда не существовало.) Она была уверена, что его приняли потому, что он кому-то из педагогов «приглянулся», как она сама – Русиновой.

В студенческом сообществе компанейский, отзывчивый, демократичный Женя Симонов быстро стал популярен. Всем помогал с этюдами, с отрывками. Ставил водевили и играл в них. Казалось, среди молодых и начинающих он самый умелый и талантливый. «Он рано начал выдвигаться в режиссуру... В аудиториях и коридорах то и дело слышалось: "Да что ты возишься?.. Вот Женька придет и поставит... Пусть он посмотрит"...» С тех пор и навсегда она поверила в его режиссерский дар. Сделала с ним несколько своих замечательных ролей – Наташу в «Городе на заре», Вальку-дешевку в «Иркутской истории» Алексея Арбузова, которая прославила ее, шекспировскую царицу Клеопатру. Никогда не соглашалась с его гонителями; не отступилась от него и в самые трудные, трагические для Евгения Рубеновича годы, когда, оставаясь в абсолютном меньшинстве, была непоколебимо против того, чтобы его сняли с поста худрука.

Он странно ухаживал за ней. Останавливал в коридоре как будто бы случайно, небрежно – насмешливо приглашал пройтись: «Пойдем, что ли?!» Великолепно читал стихи – великих русских поэтов, в том числе и «серебряного века», в те годы малоизвестные в советской России, и свои собственные. И те и другие казались ей прекрасными. Он водил ее в Большой театр на оперу и балеты, которые Борисова обожала. (По музеям много позже ее



«таскал» влюбленный в нее драматург, автор «Иркутской истории» Алексей Арбузов.)

Женя был весь, от начала и до конца, музыкaлен, – в жизни и в режиссуре. Играл на рояле почти как профессионал, не только легкую музыку, но и Моцарта, Бетховена, Баха. *«А в детстве не желал учиться играть. Хотела его мама Елена Михайловна. Однажды сын-подросток облился чернилами, пришел и объявил матери: "Вот тебе твой Моцарт!" А когда вырос и поумнел, боготворил мать и был благодарен ей за эти музыкальные уроки.»*

Их молодая компания, в которую кроме Юлиных и Жениных однокурсников входил будущий знаменитый бас Большого Театра Артур Эйзен – «Артурчик», его жена – «Тамарочка», другие начинающие вокалисты Оперной студии, благодаря Симонову-младшему постепенно приобретала ощутимый «музыкальный акцент». Увлекались романсовым пением. Эйзен пел, Женя аккомпанировал. *«Я к роялю робко подгребалась...»* Пьянок никаких не было. А может быть, наивную и чистую «мамину дочку» Юлю, никогда в жизни не пившую и не курившую, на посиделки с выпивками не звали, потому что знали, «все равно никакого проку не будет». Однажды Юля с Женей разбирали клавиш, пробовали петь дуэт Кармен и Хозе. Случайно услышав их пение, Симонов-отец очень смеялся.

Впоследствии, работая в Вахтанговском театре, пластически и ритмически музыкальная Борисова неизменно отказывалась петь на сцене. В «Варшавской мелодии» умолила записать на пленку в собственном исполнении польскую песенку «Персчонек», чтобы не провалить эпизод в варшавском кафе «Под гвездами». Уверяла Рубена Николаевича Симонова, что будет думать не о роли, а лишь о том, как ей спеть и не сфальшивить. Пела под магнитофонную запись. Даже на показах худсовету крутили пленку.

Мало, кто знает, но старший Симонов просил Борисову сыграть цыганку Машу в «Живом трупе». Она категорически отказалась – и потому, что смертельно боялась петь, и потому, что не хотела обидеть первых исполнительниц – Людмилу Максакову и Ирину Бунину, которую

очень ценила. (Давно покинувшая Россию и вахтанговскую сцену, ныне – Народная артистка Украины, работающая в Киеве, в русском театре имени Леси Украинки, она казалась Борисовой чрезвычайно талантливой.)

Однако знаменитый гитарист Сорокин, близкий друг Рубена Николаевича, говорил ей: «Какая же вы глупая девочка!.. У вас же есть голос... У вас автоматического слуха нет... (То есть слуха для воспроизведения мелодии. – **В. М.**) Я бы вас научил». В доме Симоновых она слышала, как гениально пел Сорокин знаменитую «Малаярку».

Она за многое благодарна Евгению Рубеновичу, которого сегодня вспоминают несправедливо редко. Через него почувствовала и полюбила Чайковского, но особенно – Шопена. Много позже, в 1960-е, на гастролях в Польше они вместе поехали в пригородное местечко Желязна Воля. Было солнечно и холодно, ярко синело небо, и воздух поздней осени обжигал дыхание. Желто-красные листья покрывали дорожки парка. Домик Шопена стоял посреди пруда. Вода была аквамаринно-синей, как небо. Из открытых окон вырывались наружу и трепетали на ветру белые легкие шторы-занавески. *«Дивный Шопен доносился из окон. Играла великая польская пианистка Галина Черны-Стефаньска».* Все это пригодится, когда Борисова сыграет польскую «камеральную» певичку Гелену Модлевску в «Варшавской мелодии» Леонида Зорина.

Женя Симонов был увлекательным рассказчиком, а она умела слушать. Огорчалась, как мало в сравнении с ним знает, видела и читала. *«Он заволакивал собственным миром, умел выразить свою любовь, казался очень интересным человеком».*

Очень скоро он привел ее в Левшинский переулок, в знаменитый вахтанговский кооператив, в квартиру своего отца и матери. Постепенно привыкая, она все чаще стала приходить туда. Дом Симоновых показался ей музеем, полным прекрасных, редких вещей. Выйдя замуж за Исаю Спектора, она там больше никогда не бывала. Зато часто бывал Спектор, директор-распорядитель Вахтанговского театра, которого высоко ценил, без которого



Ю. Борисова – Гелена.
«Варшавская мелодия». 1967

не мог обойтись, которого побаивался сам Симонов-старший.

Она и сейчас в подробностях видит и помнит просторную гостиную-столовую с затененными углами, овальный стол под огромной люстрой, английский фарфор на белой скатерти, тонкую резьбу на гранях бокалов, их прозрачный звон, различимый в шуме голосов... Мебель была старинная, красного дерева, то ли александровская, то ли павловская. На стенах, выкрашенных, как в эпоху русского ампира, в синий цвет, прекрасно смотрелись гравюры, картины, фотографии в рамках. Была спальня матери, сиявшая карельской березой. Висел знаменитый портрет Рубена Николаевича кисти Корина. Старинную мебель, вазы, люстры, бра она полюбила с тех пор. Все вахтанговцы, с их культом красоты, увлекались стариной, на гастролях в Ленинграде начиная с 1920-х годов и в 1930-е задешево ее покупали, якобы для театра...

В столовой на большом, длинном диване с выгнутой спинкой и жесткими подлокотниками, сменяя друг друга, ночевали многочисленные Женинины друзья. Юлия Борисова никогда в доме Симоновых не оставалась на ночь, не жила у них, уже почти признанная Жениной невестой, приходила и уходила... Работница Шура вела дом. За глаза (это при советской-то

власти!) называла Рубена Николаевич «Баринном», Елену Михайловну – «Барыней». А Женьку и его многочисленных друзей, которые ночевали на диване, не уважала.

Заскочив домой на ходу, Симонов-младший в кухне шарил по кастрюлькам, под крышки заглядывал. Шура его ругала: «Зачем же ты лезешь в кастрюльки-то?! Сын таких родителей... Твоя мать – такая барыня... И отец твой – тоже!..» Шура очень огорчалась, что у «таких» родителей и «такое дитя» уродилось.

Мать Жени Симонова – Елена Михайловна – была не очень здорова. По дворянскому, «высокому» воспитанию и происхождению своему никогда не занималась хозяйством. Дороги на кухню не знала. Когда гостей не было, Симонов за столиком под лампой раскладывал пасьянсы. Перед ним стоял графинчик с коньяком и серебряная стопка. Он выпивал ее и, спустя некоторое время, звал раздельно, скрипуче, специфическим своим (чуть каркающим) голосом: «Шу – ра». Та появлялась и наполняла рюмку.

И Рубен Николаевич, и его супруга обязательно отдыхали днем час или полтора. Тогда отключались все телефоны. Вечерами уходили в гости, в театр, на концерты, и у них в любое время дня и ночи бывали люди.

Почти каждый раз Борисова становилась свидетельницей домашних вечеров необыкновенной красоты. Сидела за столом молча, смотрела во все глаза и слушала во все уши. Не «ляляканье», а веселые, остроумные и просто умные разговоры. Тогда впервые ощутила она прелесть российского застолья, хлебосольного и артистичного. Состав гостей был необыкновенный. Из вахтанговцев приглашались немногие, избранные, и постоянно – знаменитости из других театров, музыканты Игумнов и Софроницкий, ученые-атомщики, архитекторы, генеральные конструкторы (часто бывал Архангельский), врачи-профессора, армянская диаспора в Москве во главе с композитором Арамом Хачатуряном... Все очень большие имена. Кажется, и сиятельный Анастас Микоян посещал дом на Левшинском.

Громогласный, неуправляемый, великий артист и главный «хулиган» Художественного

Люди, годы, жизнь. Юбилейное



Ю. Борисова –
Павлина Казанец.
«Стряпуха». 1959

Ю. Борисова –
Валька-дешевка.
«Иркутская история».
1959

театра, человек великолепного ума и остроумия, неистощимый на розыгрыши Борис Николаевич Ливанов мог заявиться в три часа утра. Хозяев это не утруждало. Рубену Николаевичу, напротив, очень нравилось.

Елена Михайловна была очень хорошего вкуса, острого ума, юмора и достоинства. Стройная, со светлыми пышными, легкими волосами, она отлично двигалась, кажется, окончив какое-то балетное училище. В театре держалась скромно, с большим тактом. Помогала актерам. («Что-то связанное с танцами или пластикой».) На роли не претендовала, да и Рубен Николаевич ее не продвигал.

Елена Михайловна происходила из известной дворянской семьи Поливановых. Симонову-старшему трудно было на ней жениться. Родственники восставали. Но она очень его любила, пошла за ним. «А он вел себя более, чем свободно». Актрисы – избранницы Симонова, «рубеновые звезды», которых он выдвигал не только за талант, отравляли ей жизнь. Но она молчала. Никому не исповедовалась, не жаловалась. Разве что смеялась над собой, над ним и над ними.

«И Рубен Николаевич и Елена Михайловна были доброжелательны, гостеприимны и свободны. Это я робела, а они были приветливы ко мне. Думаю, что не ко мне одной. Я и не была ни



первой, ни единственной, кого Женя приводил. Появлялся человек в доме, и они его принимали. Приходили Женины друзья. Оставались ночевать. Спали на большом диване в гостиной. Это была Женина жизнь, и они с нею считались. Царила атмосфера вечного праздника с интереснейшими разговорами за столом, а не "ляляканьем", с массой розыгрышей, анекдотов,



Ю. Борисова – Турандот.
«Принцесса Турандот». 1963

воспоминаний... И гости, и хозяин обладали замечательным чувством юмора. Но едва только Рубен Николаевич начинал анекдот, Елена Михайловна по-детски перебивала, торопилась досказать, кричала: "Я знаю! Знаю, чем все кончилось..." Он притворно сердился. "Ну, Лелька! – так он ее называл дома. – Ты же не даешь мне договорить... Не даешь рассказать". И все хохотали. Жестокости в отношениях не было. Рубен очень считался с женой. Показывал всячески перед людьми, друзьями и посторонними, как он ее почитает. Время от времени уходил в свои романы, но обязательно возвращался. И смерть ее стала для него огромной драмой».

Юле Борисовой казалось, что в молодые начальные, заполненные работой, успешные ее годы при Рубене Николаевиче Симонове и в Вахтанговском театре был постоянный праздник.

Елена Михайловна не дожидая до режиссерских триумфов сына – ни до его «Иркутской истории», ни до «Филумены Мортурано»,

умерла в 1956 году. Именно она очень точно про него сказала: «Вот про Женю в театре судачат, что он не режиссер. А я вам, скажу, что он замечательный оперный режиссер».

«А сын был рядом. Ее им так легко можно было ударить... Первые Женины годы оказались не слишком удачны. Били по нему, который ставил плохие советские пьесы и спектакли у него не получались. Когда же получались, их приписывали великому папе».

Большой портрет Евгения Рубеновича Симонова висит в главном фойе Вахтанговского театра, но его – талантливого, немало сделавшего для своего родного театра, – сегодня вспоминают несправедливо редко.

Старейшина вахтанговского коллектива – актриса Галина Львовна Коновалова, подруга всей жизни Борисовой, умница и ярчайшая личность, оставила свое суждение о Евгении Симонове:

«Он был блестящий человек. Обладал дивной памятью. Знал наизусть массу стихов – от Гюго, до Вознесенского и своих собственных, – с удовольствием, подолгу читал их вслух. Был замечательно музыкален. В спектаклях любил пафос, яркость, интенсивность... Замечательно выстраивал мизансцены. Часто – фронтальные. Любил, чтобы было много музыки, звучали оркестр, хор, били барабаны... Он не очень много давал актеру, не умел делать то, что делал Рубен Николаевич и особенно великолепно – Сашура Ремизова. Что он был легкомысленный – это точно. Разбрасывался и отвлекался на стихи, на пьесы, которые стал писать и верил, что они совершенны. Комплекс "отца" его мучил, знаменитый Рубен мешал своей фамилией. В театре сплетничали, что дома папа ему все рассказывает и подсказывает».

Юлия Константиновна протестует: «*Это неправда! Рубен Николаевич дома не репетировал, а пасьянсы раскладывал. Ну, не был Рубен Николаевич ни на одной репетиции "Иркутской истории"! Сценографию Сумбаташвили, так много определившую в спектакле, мы до мельчайших подробностей оговаривали за столом, в присутствии всех участников. Женя на наших глазах "сочинял" спектакль».*

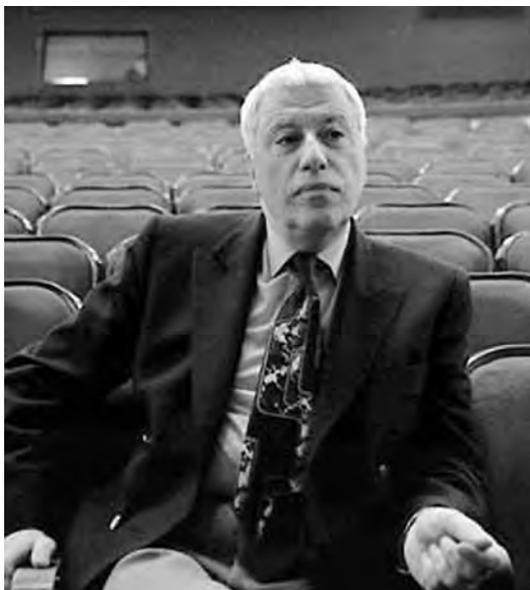
Снова Галина Львовна Коновалова: «Рубен был талантливее, роскошнее как мужчина, чем сын. Но и Женя был блистательной личностью. Он прекрасно выступал, говорил на публике, по любому поводу и всегда шикарно. Он писал стихи, пьесы в стихах. На мой взгляд – не бездарные, не серые. Что-то в них было наивное, прелестное... Плюс знание истории, литературы, как в его пьесе "Павел I". Он прекрасно играл на рояле – классику, Баха, например, а не только легкий, романсовый репертуар...

Рубен – совсем другой характер. Вдруг переставал разговаривать с актером, даже здороваться. Это было ужасно. Его спрашивали: "Рубен Николаевич, Вы на меня за что-то сердитесь?" Он отвечал холодно: "Вам это кажется..."

Женя совсем другой – отходчивый. Он – прощал. Рубен – нет. Женя верил в Бога. Рубен Николаевич не был религиозным.

Но вместе с тем Симонов прожил жизнь поверхностным, разбросанным человеком. За все хватался и никого особенно не любил. Ни женщин, ни своих детей. Может быть, только – одну Юлю...»

Е. Симонов



У нее, проживший два десятилетия с обожаемым мужем (которого по понятным причинам Симонов-младший очень не любил), никогда не собиравшей и не хранившей своего архива, чудом сохранились несколько писем Евгения Рубеновича и посвященные ей стихи...

*Хочу забыть твои глаза,
Твою улыбку и осанку –
Ты налетела, как гроза,
Все сокрушая спозаранку.*

*Хочу забыть твое лицо,
И голос, и рукопожатье,
Когда взбежал я на крыльцо,
Чтоб заключить тебя в объятия!*

*Хочу забыть и не могу –
На это не хватает воли.
Я жду тебя на берегу,
И дома, и в пустынном поле!*

*Мне кажется, что ты придешь,
Что нам не удалось проститься.
И только слезы, словно дождь,
Посеребрят твои ресницы.*

14 ноября 1969 г. Брно

*На собрании занудном
Я скучаю, как всегда.
В нашей жизни многотрудной
Ты мне светишь, как звезда!
За окошком снег и ветер,
Ходят тучи в стороне –
Помни, что на
Этом свете
Ты всего дороже мне!
Только я прошу – не надо
Рвать мне сердце на куски...
Если ты уйдешь с доклада,
Я подохну от тоски!*

14. 2. 70 г.

*Pro настоящее**Эм*

20.IV.74 г.

Юлинька, дорогая моя!

Завтра – 21 июня – у меня День рождения.

Я хочу отметить его скромно и тихо, в кругу своих близких друзей и делаю это втайне, чтобы на меня не обижались товарищи. Ко мне на улицу Щукина к 10 часам вечера придут Леня Зорин с женой, Володя Этуш с супругой, А. Кацынский и Е. Федоров.

Господи, как бы я был счастлив, если бы ты смогла придти. Толя встретит тебя и проводит.

Умоляю – не отказывай мне!

Я соскучился! Нам необходимо встречаться и видеть друг друга!

Все мои гости любят тебя и боготворят, а я – в особенности!

Твой Женя.

Быстро ответа я и слушать не хочу – потому что безумно боюсь услышать отказ. Продли мне надежду, Христа ради, а завтра во время работы над «Миллионершей» скажи, пожалуйста, Толе Кацынскому, сможешь ты придти или нет. Надеюсь... Надеюсь... надеюсь...

Е. С.

*Господь в синем небе
На свет произвел
И листья, и стебель,
И корни, и ствол.*

*Он создал гирлянды
Сиреневых туч,
И мир неоглядный,
И солнечный луч.*

*Придумал пустыни,
Леса и моря,
Изысканный иней,
И цвет янтаря.*

*Он создал поэтов,
Придумав для них,
И свежесть рассветов,
И рифмы, и стих.*

<...>

*И ангелов лики
В сиянии крыл*

*Не бог ли великий
Для нас сотворил?*

*Под солнечным диском
В начале весны
Бог создал артистку,
Чьи думы ясны.*

*Она, как Мадонна
Пред ликом Христа, –
И очи бездонны,
И совесть чиста!*

*Под куполом синим,
Не ведая зла,
Не ты ли Богиней
Ко мне снизошла?*

*Не ты ли для сцены
Была рождена
И так вдохновенно
Царила одна?*

*Не общим ли кровом
Нам был небосвод?
Я был очарован
Твоей Турандот!*

*Как в сотни каратов
Бесценный алмаз,
Твоя Клеопатра
Сияла для нас!*

*И пусть между нами
Поставлен заслон, –
Я этим сияньем
Навек ослеплен.*

14 марта 1992 года. Москва.
«Поздравляю! Твой Евг. Симонов».

* Главы из книги В. Максимовой, которая готовится к изданию. Курсивом выделены слова Ю. Борисовой.